

Кристина Хофленер

Кто заглядывал в Австрии хотя бы в одну сельскую почтовую контору, может считать, что видел их все, настолько мало они отличаются друг от друга. Обставленные, вернее, унифицированные одними и теми же предметами одного и того же инвентаря времен Франца-Иосифа, они повсюду несут отпечаток одинаково угрюмой казенщины и вплоть до самых захолустных деревушек Тироля, где уже веет дыханием глетчеров, упорно сохраняют характерный для староавстрийских канцелярий запах дешевого табака и бумажной пыли. Они и распланированы везде одинаково: деревянная перегородка со стеклянными окошками разделяет помещение в строго предписанной пропорции на как бы посюсторонний и потусторонний мир, на общедоступную и служебную зоны. Отсутствие стульев для публики и прочих удобств наглядно свидетельствует о том, что государство мало заботит продолжительность пребывания его граждан в общедоступной зоне. Единственным предметом мебелировки там обычно служит робко притулившаяся у стены шаткая конторка, обтянутая поверх клеенкой; клеенка эта вся в трещинах и сплошь закапана чернильными слезами, хотя никто не припомнит, чтобы в чернильнице, укрепленной в крышке стола, когда-либо находилось что-нибудь, кроме комковатой загустевшей кашицы; а если рядом, в желобке, случайно найдется ручка, то перо наверняка будет с расщепом и непригодным для письма. Бережливое казначейство экономит не только на удобствах, но и на красоте: с тех

пор как Республика убрала портреты Франца-Иосифа, единственным украшением присутственных мест можно считать разве что яркие плакаты, которые с грязных некрашенных стен приглашают посетить давно закрывшиеся выставки, купить лотерейные билеты, а в некоторых забывчивых конторах — даже призывают подписаться на военный заем. Вот такими дешевыми декорациями да еще просьбой не курить, на которую никто не обращает внимания, и ограничивается щедрость государства в почтовых конторах.

Зато отделение по ту сторону служебного барьера выглядит куда более респектабельно. Здесь государство с подобающим ему размахом демонстрирует один за другим символы своего могущества. В дальнем углу стоит железный несгораемый шкаф, и в нем, судя по решеткам на окнах, иногда действительно хранятся весьма значительные суммы. На аппаратном столе, словно драгоценность, сверкает начищенной латунью телеграфный аппарат, рядом с ним на никелированном лафете дремлет более скромный телефон. Этим двум приборам умышленно выделена как бы почетная резиденция, ибо они, подключенные к медным проводам, связывают отдаленную деревушку с просторами государства. Остальные аксессуары почтового дела вынуждены потесниться: весы и сумки для писем, справочники, папки, тетради, реестровая книга, круглые звякающие банки для почтовых сборов, весы и гирьки, черные, синие, красные и чернильные карандаши, зажимы и скрепки, шпагат, сургуч, губка и пресс-папье, бумажный нож, клей и ножницы — весь многообразный набор инструментов — сгрудились в рискованном беспорядке на краю стола, а ящики до отказа набиты горами всевозможных бумаг и бланков. На первый взгляд этот ворох вещей расходуется крайне расточительно, однако такое впечатление обманчиво — втайне государство строго учитывает всю свою дешевую

утварь поштучно. От исписанного карандаша до порванной марки, от разлохмаченной промокашки до обмылка на рукомыльнике, от электролампочки, освещающей контору, до ключа, запирающего ее, — за каждый потребленный или изношенный предмет казенного имущества государство неумолимо требует от своих служащих отчета. Возле чугунной печки висит отпечатанный на машинке, скрепленный официальной печатью и неразборчивой подписью инвентарный список, в котором с арифметической скрупулезностью перечислены наимельчайшие и наиничтожнейшие предметы технического оборудования, предусмотренные для соответствующего почтамта. Ни одна вещь, не упомянутая в описи, не смеет обитать в служебном помещении, и наоборот: каждый предмет, указанный в оной, должен наличествовать и быть в любое время доступным. Так требуют администрация, порядок и законность.

Строго говоря, в этот машинописный реестр следовало бы включить и некое лицо, которое ежедневно в восемь утра поднимает стеклянную створку и приводит в движение весь неодушевленный мир: вскрывает мешки с почтой, штемпелюет письма, выплачивает денежные переводы, выписывает квитанции, взвешивает посылки, делает красным, синим и чернильным карандашом разные пометки и непонятные, загадочные знаки на бумагах, снимает телефонную трубку и крутит катушку аппарата Морзе. Но, вероятно по тактическим соображениям, это некое лицо, которое посетители называют обычно почтовым служащим, или почтмейстером, в инвентарной описи не значится. Его фамилия зарегистрирована в другом отделе почт-дирекции, однако, так же, как все прочее, учтена и подлежит ревизии и контролю.

Внутри освященного гербовым орлом служебного помещения никогда не происходит видимых перемен. Вечный закон начала и конца разбивается о казенный барь-

ер; вокруг здания почты на деревьях зеленеет и осыпается листва, растут дети и умирают старики, рушатся старые дома и поднимаются новые, и одно лишь казенное учреждение наглядно демонстрирует свою ничему не подвластную силу вечной неизменности. Ибо в этой сфере взамен каждой вещи, которая изнашивается или исчезает, портится и ломается, начальство затребует и доставит другой экземпляр точно такого же типа и тем самым явит образец превосходства над миром тленным мира казенного. Содержимое преходяще, форма неизменна. На стене висит календарь. Каждый день отрывается один листок, за неделю — семь, за месяц — тридцать. Тридцать первого декабря, когда календарь кончается, подается заявка на новый — того же формата, такой же печати: год стал новым, календарь остался прежним. На столе лежит бухгалтерская книга со столбиками цифр. Как только столбик слева суммирован, итог переносится направо и счет продолжается, страница за страницей. Заполнена последняя страница, и книга окончена, начинается новая, того же вида, того же объема, ничем не отличающаяся от прежней. Все, что кончается, появляется на следующий день вновь, однообразно, как сама служба; на той же крышке стола неизменно лежат те же предметы, те же стандартные бланки и карандаши, скрепки и формуляры, каждый раз новые и каждый раз все такие же. Ничто не меняется в этом казенном пространстве, ничто не добавляется, без увядания и расцвета здесь властвует одна и та же жизнь, вернее, не прекращается одна и та же смерть. Единственно, что неодинаково в многообразии предметов, — это ритм их износа и обновления, но не их участь. Карандаш существует неделю и заменяется новым, таким же. Почтовая книга живет месяц, электролампочка — три месяца, календарь — год. Плетеному стулу положено служить три года, прежде чем его заменят, а тому, кто отсиживает на этом стуле всю жизнь, — тридцать или тридцать пять

лет; потом на стул сажают новое лицо, однако стул ничем не отличается от своего предшественника.

В почтовой конторе Кляйн-Райфлинга, обыкновенного села вблизи Кремса, что примерно в двух часах езды по железной дороге от Вены, таким заменяемым предметом оборудования, как «служащий», является в 1926 году лицо женского пола, и, поскольку контора числится по категории низших, этому лицу пожалован титул «ассистента почты». Через стекло в перегородке особенно и не разглядишь ее, ну, видишь неприметный, но симпатичный девичий профиль, тонковатые губы, бледноватые щеки, сероватые тени под глазами; вечером, когда она включает лампу, бросающую резкий свет, внимательный взгляд уже заметит на лбу и на висках у нее легкие морщинки. И все же вместе с мальвами у окна и охапкой бузины, которую она поставила сегодня в жестяной кувшин, эта девушка — самый свежий объект среди почтамтских принадлежностей Кляйн-Райфлинга, и, как видно, продержится она на службе еще по меньшей мере лет двадцать пять. Еще тысячи и тысячи раз эта женская рука с бледными пальцами поднимет и опустит дребезжащую стеклянную створку. Еще сотни тысяч, а может, и миллионы писем она все тем же угловатым движением бросит на резиновую подушку и сотни тысяч или миллионы раз пристукнет почерненным медным штемпелем, гася марки. Вероятно, это движение ее натренированной руки станет еще более четким, более механическим, более бессознательным. Сотни тысяч писем будут, конечно, разными, но всегда — письмами. И марки разными, но всегда — марками. И дни разными, но каждый день от восьми часов до двенадцати, от двух до шести, и все годы расцвета и увядания — одна и та же служба, одна и та же, одна и та же.

Может быть, в этот тихий летний полдень девушка с пепельными волосами размышляет за стеклянным окошком

о том, что ее ждет впереди, а может, просто замечталась. Во всяком случае, ее руки соскользнули с рабочего стола на колени и, сплетая пальцы, отдыхают, узкие, усталые, бледные. В такой ярко-голубой, такой знойный июльский полдень на почте Кляйн-Райфлинга дел не предвидится, утренняя работа окончена, почтальон Хинтерфельнер — вечно жуящий табак горбун — уже давно разнес письма, никаких пакетов и образцов товаров с фабрики до вечера не поступит, а писать письма у односельчан теперь нет ни охоты, ни времени. Крестьяне, прикрывшись широкополыми соломенными шляпами, рыхлят виноградники, босоногая детвора, отдыхая от школы, резвится в ручье, мощенная булыжником площадка перед дверью пустует, накаленная полуденным жаром. Хорошо бы сейчас побыть дома, и хорошо, что можно спокойно помечтать. В тени опущенных жалюзи спят на полках и в ящичках карточки и бланки, в золотистом полумраке лениво и вяло поблескивает металлом аппаратура. Тишина, словно густая золотая пыль, легла на все предметы, и лишь между рамами лилипутский оркестр комариных скрипок и шмелиной виолончели играет летний концерт. Единственное, что без усталости движется в прохладном помещении, — это маятник деревянных часов, висящих в простенке между окон. Каждую секунду они крохотным глоточком глотают каплю времени, но этот слабый, монотонный шум скорее усыпляет, нежели пробуждает. Так и сидит почтовая ассистентка в своем маленьком уснувшем мирке, охваченная приятной истомой. Собственно, она собиралась вышивать, даже приготовила иголку и ножницы, но вышивка свалилась с колен на пол, а поднять ее нет ни сил, ни желания. Откинувшись на спинку стула, закрыв глаза и почти не дыша, она отдается блаженному чувству оправданного безделья, столь редкому в ее жизни.

И вдруг: та-та! Она вздрагивает. И еще раз металлический стук, тверже, нетерпеливее: та-та-та. Упрямо

стучит аппарат Морзе, дребезжат часы: телеграмма — редкий гость в Кляйн-Райфлинге — хочет, чтобы ее приняли с уважением. Девушка разом стряхивает с себя сонливость, устремляется к аппаратному столу и хватается за ленту. Но, едва разобрав первые слова на бегущей ленте, краснеет до корней волос. Ибо впервые с тех пор, как здесь служит, она видит на ленте свое собственное имя. Телеграмму уже отстучали до конца, она перечитывает ее второй раз, третий, ничего не понимая. Почему? Что? Кто это вздумал слать ей телеграмму из Понтрезины?

«Кристине Хофленер, Кляйн-Райфлинг, Австрия. С радостью ждем тебя, приезжай любой день, только заранее сообщи телеграммой прибытие. Обнимаем. Клер — Антони».

Она задумалась: кто такая или кто такой Антони? Может, кто-то из коллег решил подшутить над ней? Но затем она припоминает: мать недавно говорила ей, что этим летом приезжает в Европу тетя, ну правильно, ее же зовут Клара. А Антони, наверное, имя ее мужа; правда, мать всегда называла его Антоном. Да, теперь точно вспомнила: ведь несколько дней назад она сама принесла матери письмо из Шербура, а мать почему-то скрытничала и ничего о содержании письма не сказала. Но ведь телеграмма-то адресована ей, Кристине. Неужели ехать в Понтрезину к тете придется ей самой? Об этом же никогда не было речи. Она снова разглядывает еще не наклеенную бумажную ленту, первую телеграмму, адресованную лично ей, снова перечитывает в растерянности, с любопытством и недоверием, сбита с толку странным текстом. Нет, ждать до обеденного перерыва она не в силах. Надо немедленно узнать у матери, что все это значит. Кристина хватается за ключ, запирает контору и бежит домой. В спешке она забыла выключить телеграфный аппарат.

И вот латунный молоточек стучит и стучит бессловесно в опустевшей комнате по чистой бумажной ленте, возмущенный таким пренебрежением к себе.

Снова и снова убеждаешься: скорость электрического тока потому и невообразима, что она быстрее наших мыслей. Ведь двадцать слов, которые белой бесшумной молнией пронзили душный чад австрийской конторы, были написаны всего лишь несколько минут назад за три земли отсюда, в прохладной синеве глетчеров под лазурно-чистым небом Энгадина, и не успели еще высохнуть чернила на бланке отправителя, как смысл и призыв этих слов ударил в смятенное сердце.

А случилось там следующее: маклер Энтони ван Боолен, голландец (много лет назад он осел на Юге Соединенных Штатов, занявшись торговлей хлопком), так вот, Энтони ван Боолен, добродушный, флегматичный и, в сущности, весьма незначительный сам по себе мужчина, только что кончил завтракать на террасе — сплошь стекло и свет — отеля «Палас». Теперь можно увенчать breakfast* никотиновой короной — черно-бурой шишковатой «гаваной», из тех, что доставляют с места изготовления специально в воздухонепроницаемых жестяных футлярах. Дабы насладиться первой, вкуснейшей затяжкой с полным удовольствием, как подобает опытному курильщику, этот несколько тучноватый господин водрузил ноги на соседнее соломенное кресло, развернул огромным квадратом бумажный парус «Нью-Йорк геральд» и отчалил в бескрайнее печатное море биржевых курсов. Сидящая напротив него супруга Клер, звавшаяся раньше просто Клара, со скучающим видом отщипывала дольки грейпфрута. По многолетнему опыту она знала, что всякая попытка пробить разговором ежеутреннюю газетную

* Завтрак (англ.).

стену совершенно безнадежна. Поэтому оказалось весьма кстати, что к ней неожиданно устремился гостиничный бой — забавное существо, коричневая шапочка, румяные щеки — и протянул свежую почту: на подносе лежало одно-единственное письмо. Содержание его, по-видимому, настолько увлекло Клер, что она, забыв о долгом опыте, попыталась оторвать мужа от чтения.

— Энтони, послушай, — сказала она. Газета не шевельнулась. — Энтони, я не хочу тебе мешать, ты только секунду послушай, дело срочное, письмо от Мэри... — Она невольно произнесла имя сестры по-английски. — Мэри пишет, что не сможет приехать; хотя ей очень хотелось бы, но у нее плохо с сердцем, ужасно плохо, врач говорит, что на высоте двух тысяч метров ей не выдержать ни в коем случае. Но, если мы не против, вместо нее на две недели приедет Кристина, ну ты знаешь, младшая дочь, блондинка. Ты видел ее на фотографии, еще до войны. Она служит в пост-офисе и еще ни разу не брала полного отпуска, и если подаст заявление, то ей предоставят сразу же, и она, конечно, будет счастлива после стольких лет «засвидетельствовать свое почтение тебе, дорогая Клара, и уважаемому Антони» — и так далее.

Газета не пошевелилась. Клер пошла на риск:

— Ну как ты думаешь, пригласить ее?.. Бедняжке не повредит глоточек-другой свежего воздуха, да и приличия требуют, в конце концов. Уж раз я оказалась в этих краях, надо же, в самом деле, познакомиться с дочкой моей сестры, и так всякая связь с родней порвалась. Ты не возражаешь, если я приглашу ее?

Газета чуть зашуршала. Сначала из-за белого края страницы выплыло кольцо сигарного дыма, круглое, с синевой, затем послышался тягучий и равнодушный голос: